

ПРО МАКСИМА, ИНВАЛИДА И ГОВОРУНА

Зенитчики еще не успели как следует окопаться, только развернули орудия и перенесли с полуторки ящики со снарядами. Максим рыл окопчик, безнадежно ковыряя лопаткой мерзлую землю. Друг Агафон со стороны с усмешкой смотрел за возней своего товарища:

– Макся, тебе так до дня победы не вырыть. Ты не долби, ты режь, оно лучше выходит.

– Не режется, тут вроде солонец, лопата вязнет.

Агафон взял у него инструмент, сделал несколько движений, согласился:

– Да, земляца попала тебе.... Сам выбирал.

– Одно только думаю: хорошо, что не могилу копать, все-таки окопчик помельче.

– Не каркай! Переходи на мое место, я дивно вырыл, и грунт у меня податливей.

Максим вылез из неглубокой лунки, достал портсигар, полученный в подарок из посылки работниц тюменской овчинной фабрики. На алюминиевой крышке подержанной уже вещи красовалась точками выбитая надпись «На память от Косты». Мужики решили, что портсигар сдал в посылку или демобилизованный по ранению, или солдат той мировой, потому что на обратной стороне коряво нацарапано «Германский фронт». Закурили.

Только чуть зарилось. Ночь не отступала, и сизый сумрак неуютно обволакивал душу. Максим всякое время суток сравнивал со своим, сибирским, и не находил ничего похожего. Вот и этот рассвет был незнакомым и чужим.

– Рождество сегодня, – горько сказал Максим, вспомнив, как дома встречали это утро. – Пока не закрыли церкву, всей семьей ходили на службу. И отец, Павел Михайлович, и мама, и нянька Анна, и Никита, его убили ланись.

– Когда убили?

– В прошлом году, осенесь.

– Так и говори, а то – ланись. И осенью, а не осенесь, нерусь!

– Пошто нерусь, русский я.

– А почему говоришь так?

– У нас все так говорят. Я тоже не шибко грамотный. В младшую группу ходил зиму, учился, потом надо было в среднюю, а отец сказал: «Макся, ты не ходи в школу, в средней группе ребятшек будут кастрировать». Я и не пошел.

Агафон тихонько смеялся:

– Ты, Макся, за яйца свои пострадал. Мужик толковый, будь грамотёшка – отирался бы где при штабе, не копал бы Россию.

– Не-е, мне в штабе не усидеть, я бы брякнул что-нибудь про начальство, и поехал в штрафбат, как наш командир.

– Жалко мужика.

Новый командир батареи капитан Степура крикнул издалека:

– Не сидеть, окапываться!

Максим привычно загасил окурок, втоптав носком сапога в мерзлую землю. Агафон тоже встал:

– Переходи в мой окоп, вон, у второго орудия.

Максим нехотя пошел, волоча винтовку и лопату.

Скоро должно было вставать солнце. Он сел в почти готовый окопчик и грустно смотрел на восток. Место появления светила обозначилось обширным сиянием, но цвета были не те, к которым он привык. Восход всегда притягивал его: и на весенней пашне, когда суровый отец поднимал чуть свет; и на раздольных лугах родных афонских сенокосов, потому что утренняя кошенина самая наилучшая для сена; и на жатве, пока не обдуло ночную прохладу, надо наострить серпы и поправить вчерашние спешные суслоны урожайных и крепких снопов. Таинственная сила самого жизнеутверждающего явления завораживала его, первое появление солнца было сигналом к новому дню.

Несколько крупных точек на мгновение опередили солнечный луч, и Максим узнал самолеты. Гул появился чуть позже. Это бомбардировщики. Должны быть наши, но по очертаниям и особенностям звуков он понял, что противника. Похоже, отбомбились, домой идут. Высота приличная, и курс чуть в стороне от батареи. Над ними, как воробьи над коршуном, зависли истребители сопровождения.

– Воздух! – заорал капитан Степура, и бойцы переглянулись.

– Товарищ капитан, это не наш воздух, эропланы разве что над четвертой батареей пройдут, – спокойно уточнил старшина Моспанов.

– Отставить разговоры! Орудия к бою!

– Какой бой, нам их сроду не достать!

– Пуцай себе летят...

– Товарищ капитан, не надо их дразнить. Давайте пропустим, все равно не собьем, только себя обнаружим, – бубнил старшина.

– Это что за собрание!? Что значит – пропустим!? Я для того сюда поставлен, чтобы уничтожать самолеты противника! Орудия – к бою!

Максим подбежал к ящикам со снарядами.

– Каким стрелять будем?

– А хрен его знает! – ответил командир орудия сержант Мяличев. – Их никаким не достать.

Капитан Степура отдавал команды зычным голосом, то и дело поднося к глазам бинокль. После команды «огонь!» зенитки вразнобой закашляли, выплевывая горячие гильзы. Максим видел разрывы, которые не могли даже напугать летчиков. Сидевший на радиции рядовой Пащенко вдруг встал и крикнул:

– Товарищ капитан, вас первый к аппарату!

Капитан побледнел, услышав отборный мат полковника, Максим присел на ящик после его команды прекратить огонь. Но было уже поздно. Два самолета выпали из строя и стали скатываться прямо на голову Максиму.

– Вот теперича действительно воздух, – хохотнул он и полез в окопчик Агафона.

Самолеты выбросили пять мелких бомб, непонятно, почему не использованных на основном задании, и стали набирать высоту. Зенитки молчали. Капитан стоял, втянув голову в плечи. Старшина Моспанов свалил его в свой окоп. Бомбы разорвались дружно, осыпав землей и осколками все вокруг. Одна разнесла Агафона, попав прямо в обменянное с Максимом место. Еще одна повредила орудие. Осколок навывлет пробил живот капитану. Сержант Мяличев чуть дернулся на станине орудия и затих. Тишина наступила страшная. Максим вскочил и, кинувшись в сторону Агафона, упал, пробежав несколько метров. Воронку на месте своего окопа он успел увидеть, но сильная боль в ногах уронила на землю.

– У тебя же ступня пробита, едрена мать, – радист Пащенко присел на корточки и тупо смотрел на рваное отверстие в сапоге, из которого сочилась грязная кровь.

– Сымай сапог, нехрен сидеть сиднем.

Пащенко немного повозился и возразил:

– Не снять, резать придется.

– Сапог губить не позволю, сымай.

– Не позволит он! Тут дыра насквозь.

Максим с детства боялся собственной крови, и теперь, едва глянув, сомлел и повалился на бок. Пащенко разрезал голенище и, отбросив сапог, начал неумело делать перевязку.

– Капитана сразу осколком навывлет, так в страхе и помер. Ему полковник вломил, что он обнаружил батарею. Нас, говорит, для важного дела разместили. И Ендырева в клочья разорвало, с которым ты окопом сменялся. Толковый у тебя обмен получился.

Максиму было неловко, будто он виноват в гибели товарища. Пащенко приспособил к забинтованной ноге разрезанный сапог.

Артиллерийский обстрел начался внезапно, видно, сообщили летчики расположение батареи. Пащенко вместе с шофером полуторки, которая привезла снаряды, оттащили Максима к машине и затолкали в кузов. Он лежал на спине, подсунув под голову кусок брезента. Рана ныла, он с трудом поднял ногу, холодная кровь скатилась по штанине под задницу и под спину, боль чуть утихла.

Солнце уже встало и светило ему прямо в глаза. Такое яркое солнце! Он знал, что надо просыпаться, но какой-то мерзавчик внушал ему: «Поспи еще, мать разбудит». И действительно, мама встала на лестницу, черенком легоньких деревянных грабельцев нащупала в чердачной темноте его тщедушное тельце и легонько побеспокоила: «Вставай!». Максим очнулся, мамы не было, было раннее рождественское утро в украинской морозной степи, нехорошая тишина, нарушаемая стонами мужиков, кузов полуторки и терзающая боль в ноге. Кровь опять стекла по штанине, неприятно похолодив спину. Максим покричал, но никто не ответил. Он больше всего боялся страха, но ощущал только тоску. Если не найдут, то изойдет кровью и замерзнет. Найти могут только случайно, потому что сейчас не до разбитой батареи. Страшно не было, но хотелось плакать.

Его нашли действительно случайно в вечерних сумерках. Двое бойцов пытались завести полуторку, но не смогли, раненого Максима не сразу отодрали от деревянного кузова:

набрякшая кровью шинель пристыла к доскам. Его вели и тащили долго, один боец предлагал бросить, но второй не согласился, так и доволокли до расположения.

Как попал в госпиталь, Максим не знал, очнулся от боли в раненой ноге, попросил пить. Солдат из старших возрастов в застиранном сером халате сказал, что после операции вода не полагается, и вытер его губы мокрым грязным полотенцем.

– У меня нога болит шибко, – сказал Максим. – Ранило меня.

Санитар засмеялся:

– Не может у тебя нога болеть, потому как ее нету.

Максим не сразу понял.

– Почему нету?

– Отрезали. Гангрена у тебя началась. Отпластнули по самое колено.

– Врешь! – Максим хотел было вскочить, но голову обнесло, и он опять плавал по деревенским старицам, ставил фитили и морды, вытрясал в лодку лобастых налимов, длинных шуругаек и плоских карасей. Все тот же мерзавчик подсказывал ему, что не надо бы смотреть во сне рыбу, это к болезни, но рыба просто перла в его снасти, и Максим ничего не мог с этим поделать.

Через день врач сказал, что отправляет его в тыловой госпиталь, потому что не уверен, покончено ли с заражением:

– До санпоезда доедешь, а там помереть не дадут, у тебя еще полметра в запасе.

– Каких полметра? – не понял Максим.

– Ноги до туловища! Простых вещей понять не могут!

Его сняли в Саратове и в госпитале резали еще два раза, пытаясь сохранить хоть сколько-то конечности и опасаясь общего заражения. Учился ходить на костылях, падал, разбивал кулю, плакал по ночам, тяжело задумался о жизни после случая с соседом по койке, веселым парнем с Волги, которому отрезали обе ноги под самый корень. Он шутил, что на обувь теперь тратиться не надо, что на танцы время терять не будет. Утром попросил ребят посадить его на подоконник. Максим тоже помогал. Парень сидел недолго и молча опрокинулся наружу с третьего этажа.

Максима никто в деревне не ждал, кроме матери. В свои тридцать пять он несколько раз женился, но все как-то не получалось. Отец поначалу ругался, потом попустился, Максим погуливал, пока не забрали на фронт. Теперь отгулял. Для деревенской работы не годен, другой не знает, и грамоты нет.

Деревня встретила его нерадостными новостями, схоронили от скоротечной болезни отца, Павла Михайловича, и старшую сестру Анну, няньку, как звал ее Максим. Брат Матвей в первый вечер не пришел, сказался больным, мама наскоро собрала стол, пришли демобилизованные раньше калеки Антон, Киприян, Федор Петрович. Выпили бражки.

– Мама, а про отца-то чё не писали. И про няньку.

– А кто писатели-то, Макся, я немтая, а Матвей все по больницам.

– Так и ссытся?

– Да вроде проходит.

– Знамо, пузырь – он понюхачей самого Гитлера капут чувствует.

– Макся, при людях-то!

– А то люди не знают, что братец еще до первой немецкой артподготовки в штаны прудить начал. Эх, мать, а чё бы мы делали, если б всем миром под себя мочиться стали, вплоть до товарища Сталина?

Вечером натопили баню, Максим неумело подставил под культю деревяшку, и, не привязывая ремней, поковылял мыться. С непривычки сильным жаром охватило голову, пришлось спуститься на пол и приоткрыть дверь. Подложив под голову веник, он прилег на порожек, ловя свежий воздух через приоткрытую дверь. Кто-то закрыл собою узенький вход в предбанник, Максим поднял глаза: Матвей.

– Здорово, брат. С возвращеньцем.

– Здорово. Проходи, парься.

После бани Максим по праву старшего сидел на лавке в кутнем углу, это место отца. Лишний кусок штанины белых домашних кальсон он подогнул и привязал нянькиным пояском. Пустой стол, вот тут сидел Никита, тут нянька, тут отец.

– Жениться тебе придется, Макся, – сказал Матвей. – Я отделился, матери одной тяжело.

– Ага, прямо седни и начну, вот ветер стихнет.

– Ты смехуечками-то не отделивайся, бабья полдеревни слободного, мужиков перебили.

– Мне жениться нельзя, я еще до войны не три ли раза под венец ходил, да только на месяц и хватало. Терпеть ненавижу, как бабы начинают руководить. А теперь и вовсе, на чужой крови живу.

– Пошто? – испугался Матвей.

– Своя вся истекла, мне немецкую лили, сам на каждом флаконе видел: фамилия Донор написана. Так что не до женитьбы, хоть бы до лета дотянуть.

– Ох, и болтун ты, Макся, каким был, таким и остался, – вздохнула мать.

Исполнительницей от сельсовета прибежала невысокая молоденькая женщина, вошла в избу, поздоровалась, насухо вытерла влажные от осенней слякоти калоши на валенках.

– Ты Максим Онисимов будешь? Распишись вот в извещении, что завтра явиться в район на комиссию.

Максим расписался коряво.

– А на чем являться?

– Подвода пойдет, вас тут с десятков изувеченных.

– На вожжах не ты ли сидеть будешь?

– Нет, – хохотнула женщина. – Иван Кириков, он хоть и безрукий, но с такой командой управится.

– Чья она, мама? Вроде как не афонская?

– С Горы приехала, замуж туда выходила, да мужика убили, вернулась с двумя ребятишками.

– А пошто к нам, родня тут какая?

– Седьмая вода на киселе. Бьется бабенка, отец родной где-то в Поречье погуливает, всю войну просидел в каталашке, теперь вроде завхозом в больнице, так сказывают. А ты не глаз ли положил?

Максим стушевался:

– Да так, хорошая бабенка, веселая.

Мать в кути забрякала ухватами:

– Ты с ума не сойди, у ей двое, ты будешь третий, тоже дите, только что под себя не ходишь. Вот веселуха-то будет!

– Ладно, собери мне что в дорогу.

Рано утром у колхозного правления собрались все инвалиды, которым следовало явиться в районную больницу. Курили, подсмеивали друг над другом.

– Григорья с Эмилем в передок посадим, у их обеих ног нету, Максю с Васькой Макаровым по бокам, посередке Ванька Киричонок.

– Ему непременно надо посередке, потому как вздремнет со хмеля и под фургончик свалится, тогда и ноги может лишиться дополнительно.

– Ты меня не трожь! – витийствовал Кириков, маленький шустрый мужичок без левой руки, но ловко запрягавший пару лошадей. – А то ведь я могу и поперед из района рвануть, вот тут поползете до дому, как фриц из Сталинградского капкана.

Ванька руки лишился под Сталинградом, в деревне уже обжился, после признания Сталинградской битвы поворотным сражением во всей войне он особенно оживился, будто сам лично замыкал кольцо и брал фельдмаршалов в плен. Бывший хороший тракторист, отлученный от любимой «колесянки», он долго привыкал к лошадям, смирился, но стал попивать. В деревне, где выпивали только по случаю, мужик навеселе среди недели скоро стал посмешищем, за ним, тридцатилетним, крепко привязалось обращение и старого и малого: Ванька Кирик, Киричонок. Деревня, у неё свои законы.

Комиссия в районной больнице с участием офицера военкомата, щеголя-капитана, проходила быстро. Максим только кивал в ответ на самые простые вопросы, но когда пожилая женщина из собеса спросила, где он работает, Максим растерялся:

– Был в колхозе, пока нет работы. Да я и на ногах-то плохо стою.

– На ноге, – уточнил хирург, – вторая нога у вас почти в порядке.

– На ней отсутствует икрная мышца, – приподняла очки терапевт.

– Ну, не совсем, – возразил хирург. И Максиму: – Ну-ка, пройдитеесь.

Максим тяжело встал с табуретки, установил на крашеном полу деревяшку и сделал несколько шагов без костыля. Пересилив боль, он улыбнулся:

– Вот, помаленьку хожу.

– Можно дать третью группу, – повернувшись в их сторону, произнес офицер военкомата, до этого лепетавший с медсестрой регистрации.

– Он нетрудоспособен, Роман Дмитриевич, я за вторую.

– Нетрудоспособен, а, по моим сведениям, жениться собрался.

Максим хохотнул:

– Так оно, товарищ капитан, что для женитьбы необходимо, немец мне милостиво оставил, спасибо ему.

– Награды есть? – спросил капитан.

– Медалёшки, – равнодушно ответил Максим.

– Надо было воевать лучше, были бы ордена, – посоветовал капитан.

– Вот ты точно роты водил в рукопашную атаку! – резко выпалил Максим. – А я на продскладе винной бочкой себе ногу отдал! Да ежели бы я херово воевал, ты бы сейчас в хромовые сапожки не заглядывал, как в зеркальце, а у бюргера свиней пас!

– Товарищ инвалид! Ведите себя! – капитан вскочил.

Максим продолжал сидеть, его била дрожь, пот залил глаза:

– Я пока еще только калека, инвалидом вы меня признавать не хотите, потому что за это копейку платить надо.

Он встал и, тяжело припадая на деревяшку, вышел из кабинета, оставив на крашеном полу струйку яркой крови из лопнувшего шва на культе.

После обеда процедура закончилась, всем дали третью группу инвалидности, вторую только тем, у кого не было обеих ног. Но самое непонятное было в строгом наказе главного врача в апреле всем прибыть на перекомиссию.

– Правда, мужики, чо до апреля изменится?

– Какой ты бестолковый, Киричонок, и отец твой такой же был. – Максим уже успокоился и не мог упустить возможности подначить. – В апреле весна, все живое в рост прет, ты же знашь, что ни корову, ни бабу в это время не удержишь, щепа на щепу... Вот и возникли у советской власти опасения, что рука у тебя вырастет, а ты, сволочь подкулачная, сокроешь сей факт от любимого государства, и будешь продолжать огребать ежемесячно свои полторы сотни.

Василий Фёдорович, родственник и грамотный человек, шепнул Максиму:

– Ты придержи язык, а то не посмотрят, что инвалид, подметут.

– Зачем я им? Кормить задаром.

Василий засмеялся:

– Ага, пельмени для тебя все комсоставом будут лепить. Да подведут к ближайшей стенке и шлепнут, а потом протоколом тройки оформят. Эх ты, фронтовичок!

В субботу, напарившись в бане, Максим помыл и выскоблил ножом деревяшку, надел чистую рубаху и сказал матери:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

А сам мимо Иванова дома подался в другую сторону, где жила Мария Горлова с ребятишками. Осторожно с мужиками поговорил, не хаживает ли к ней кто – сказали, что нет, не хаживает. Подошел к избенке, выдернул верхнюю жердинку в воротцах, через нижнюю с трудом переволок деревяшку, лампа в простенке горит, но дверь уже заперта. Неловко погромел щеколдой, из избы кто-то вышел.

– Хозяйка, открывай, а то ветер сёдни холодный.

– Не открою, не признаю я.

– Максим Онисимов, извещение ты мне приносила.

– Ну, дак я тебе его отдала. Какой спрос?

– Беда с бабой! К тебе я пришел, пусти хоть на минуту, култышку перевяжу, а то не дойти до дома.

Крючок сбрыкал, отпустив дверь. Максим следом за хозяйкой вошел в избу. Чистенько прибрано, хоть и бедно. Русская печка в треть избы, стол, три табуретки, койка. С полатей свесились две стриженные головы, Володька и Генка, он уже знал их имена. В избушке этой раньше жили Заварухины, Максим тут бывал. Мария прошла в кутний угол, села на залавочек.

– Бери табуретку, переобувайся.

Максим снял деревяшку, перемотнул портянку, крови не было. Отложил протез в сторону.

– Посижу маленько. Ты пореченская родом?

– Там родилась, потом здесь в няньках жила, на семнадцатом году вышла за парня из Маслянской МТС, он тут хлеб молотил. Вот родили двоих, его забрали и под Сталинградом убили, деваться некуда, подалась к своим, хоть и не большая родня, но не бросили. Живу вот.

– В колхозе робишь?

– В колхозе.

– Тяжело одной-то?

Она вздохнула:

– Всем тяжело теперь. Тебе вот тоже не сладко.

– Да я привыкну, мозоли набью, и тогда хоть бегом.

Оба молчали, ребяташки на полатах тихонько посапывали.

– Мария, давай сойдемся с тобой. Я работать начну, пенсию вот назначили, полегче будет.

– Нет, на двоих детей никто ко мне не пойдет, и ты тоже так, баловство одно. Не стоит на разговоры.

Максим приобиделся:

– Отчего это вдруг баловство? Мне тридцать пять, куда еще? Хватит, набаловался.

– Сгоряча это ты, Максим, посмотри, сколько девок осталось без женихов, а вдов молоденьких, бездетных! Своих народишь, зачем тебе чужие, ну, ты сам подумай!

– А мы с тобой разве не родим? – осмелел Максим. – Выправится жизнь, и дети вырастут. Другое дело, если брезгуешь, не подхожу тебе, так и скажи.

– Господи! – Мария заплакала. – Я пять лет уж мужского разговора душевного не слышала. Не тревожь ты меня, Богом прошу. Иди домой, дай мне срок подумать.

Максим озаботился:

– Ты, если обо мне справки наводить, то не теряй время, я тебе сам во всем признаюсь. Зло не употребляю, табак курю, приматериваюсь, вредным бываю. Хуже уже никто не скажет.

– Иди до завтра, я хоть ребяташкам все обскажу, большие ведь. У тебя нигде нет нагулянных?

– Да не было до войны, и сейчас вроде похожих не встречал. – Он пристегнул деревяшку, надернул фуфайку, тяжело встал.

– Иди, я посвечу в сенках, там одна плаха скачет.

– Переберу пол, это я в первый же день.

У самых воротец Мария спросила:

– Максим, а ведь ты на меня сразу посмотрел, когда и с исполнительным к вам прибежала, правда?

– Как есть, правда. Я и матери сказал.

– Ладно, мне утра вставать рано, иди тихонько.

Мать не одобряла решение Максима перейти к Марии, да и Матвей пытался вмешаться, в основном напирая на ребяташек. Большие уже, семь и девять, с такими и здоровый мужик горя хватит. Максим отмалчивался, собрал в армейский вещмешок кальсоны, рубахи, гимнастерку. Поздним ноябрьским вечером ушел в избушку Марии.

Когда ребяташки на полатах успокоились, она ушла за занавеску в кутный угол:

– Ложись, я потом лампу погашу.

Ночь высвечивала худую фигуру незнакомого мужчины. Она присела перед койкой.

– Ты культи моей бояться не будешь?

– Привыкну. Мне к стенке или с краю?

– Ложись к стене.

Он неловко, неумело обнял ее открытые плечи. Кто-то из ребятишек заворочался и забормотал на полатах. Они испуганно притихли, Мария тихонько шептала ему в ухо:

– Пускай они улягутся, а ты обними меня крепко, чтоб дух захватило.

В ноябре ночи длинные, да ребятишкам вставать в школу. Поочередно спрыгнув с полатей и сбегав на улицу, они наскоро умылись под рукомойником. Максим лежал на койке, Мария уже сварила пластянку - жиденький суп с картошкой, нарезанной пластиками, положила с обеих сторон стола по куску хлеба.

Генка первым подошел к Максиму:

– Мне тебя тятей звать или папкой?

Максим стушевался:

– Мать, как лучше?

– Ты отец, ты и решай, – строго ответила Мария.

– Зови папкой. Я своего тятей звал, тоже ничего.

– И я буду папкой тоже, – добавил Володя.

– Ешьте и в школу, – скомандовала мать.

Проводив детей, она села на койку и обняла Максима.

– Я седни с работы отпросилась, если не передумал, сходим в сельсовет.

– Мне и передумать-то некогда было. Успеем еще, день большой, ложись ко мне.

В тот же день в сельском совете их записали мужем и женой. Деревня дня два обсуждала новость, пока не случилась какая-то другая.